«Октябрь» 2008, № 8

Юрий Гурфинкель

«Подземная река»

Беседы с Анастасией Цветаевой

Нам остается только имя –
Чудесный звук на долгий срок…

Осип Мандельштам

Мое знакомство с Анастасией Ивановной Цветаевой длилось почти семнадцать лет.

Оно началось в 1977 году в больнице, где я работал в отделении реанимации, а А.И. находилась на лечении, и вскоре перешло в дружеские отношения.

Стена жизни, сложенная из ярких лет ее московского детства, юности в Италии и Франции, в Киммерии у Волошина – всех этих кирпичиков счастья, на которые взгромоздились потом железобетонные блоки лет злоключений, лагерей и ссылки, – эта стена не слишком разделила нас. Во всяком случае, А.И. легко проходила сквозь нее.

Я же испытывал естественные смешанные чувства любопытства, восхищения, робости.

В те годы о семье Цветаевых мало что было известно. Разве только в узких литературных кругах знали, что Марина и Анастасия были поздними детьми профессора Ивана Владимировича Цветаева и Марии Александровны Мейн, что Марина родилась в сентябре 1892 года, а двумя годами позже, тоже в сентябре, появилась на свет Анастасия.

Поклонники и знатоки поэзии знали и о дружбе сестер, и об их общей дружбе с Максимилианом Волошиным и Борисом Пастернаком, знали, конечно, и верили, что стихам Марины, как драгоценным винам, настанет свой черед, как когда-то в ее молодые годы наступил он в еще дореволюционной России.

Черед Анастасии Цветаевой, ее звездный час настал в 1971 году. Тираж ее "Воспоминаний" в сто тысяч экземпляров был мгновенно раскуплен.

Еще в 1966-м, когда в "Новом мире" были напечатаны только избранные главы будущей книги, Борис Пастернак немедленно откликнулся: "Асенька, браво, браво... Каким языком сердца все это написано! Как это дышит почти восстановленным жаром тех дней! Как бы я Вас ни ставил, как бы ни любил, я совсем не ждал такой сжатости и силы".

За первым изданием последовали еще пять. Теперь книгу читали и в России, и за границей.

Во Франции, например, в переводах своей жены Галины Дьяконовой прозой Анастасии Ивановны восхищался Сальвадор Дали.

Общий тираж "Воспоминаний" составил свыше полумиллиона.

Наши беседы чаще всего возникали спонтанно, разрастались из каких-то бытовых разговоров.

Многое я записывал тогда, по следам этих бесед, что-то восстановил позже по памяти.

...Мне казалось, она будет жить долго. По меньшей мере до своего – невероятно представить – *столетнего* юбилея. Почти двадцать лет нашего знакомства убеждали меня в этом. Но она, смеясь, с грустью говорила: “Боюсь этой трехзначной, нечеловеческой цифры. Наверно, буду походить на ведьму”.

А в начале апреля 92-го, за полтора года до ее смерти, возникла идея ехать летом в Голландию. Оттуда прислали приглашение на конгресс писательниц-женщин и международную книжную ярмарку.

Анастасия Ивановна разыскала меня по телефону.

– Сможете? Я сказала *им,* что согласна, но только, если – с вами. Не отказывайтесь. Мы ведь хорошо съездили в Коктебель.

Звучало заманчиво. Еще бы – Голландия! Я осторожно напомнил ей недавний тяжелый грипп с воспалением легких и то, как трудно она выкарабкивалась из него.

– Вы всегда осторожничаете. Как кот – лапой, – сказала она, как мне показалось, легкомысленно. – Уж если – судьба, ну так у вас на руках, когда-то все равно ведь – придется.

Все дальнейшее напоминало сказочный сюжет. Перелет из Москвы на борту королевского авиалайнера – с красным вином в небесах, ее чтением стихов. Номер в фешенебельной гостинице в центре Амстердама, куда бежевый “Мерседес” доставил из аэропорта обшарпанный московский чемодан, перевязанный ремнями и веревкой. Почтительный портье внес его в номер, и вещи, нисколько не страдающие комплексом неполноценности, были извлечены оттуда и заняли место на полках шкафов. Смуглая индонезийка, прибиравшая ежедневно, только таращила от изумления ореховые глаза, не зная, как поступить с рассыпанными на коврах гомеопатическими шариками или алюминиевой мятой кружкой, должно быть, привезенной еще из ссылки.

И вот огромный выставочный зал с тысячами книг, среди которых мелькнула обложка с лицом Марины. И главный сюрприз: зрительный зал человек на пятьсот на втором этаже – там, где ей предстояло выступать.

Как сейчас вижу ее чуть согбенную фигуру. Постукивая палкой, в элегантном светлом костюме она поднялась по крутым деревянным ступеням на сцену. Проводив ее, я поспешил занять место в зале, но она настойчиво попросила, чтобы я сидел рядом. Таким образом я оказался перед тысячью глаз, в фокусе телекамер. Неуютность моего положения возмещалась, однако, возможностью наблюдать реакцию зала.

...У нее были разные оттенки голоса. Одни для друзей – уютные, насыщенные теплом. С людьми официальными голос учтив, но – бывало – и холоден. По-иному разговаривала с животными. Часто можно было услышать “душенька” и обращение на “вы” к какому-нибудь бродячему псу с несчастными глазами. И совершенно по-особому она читала стихи. С ясной, глубокой мелодией, временами напоминающей

по звуку виолончель. Свидетельствую: так читала она в Амстердаме залу, где мало кто понимал русский, но слушали завороженно.

Мне казалось, зал она не видит и мощное его дыхание едва ли слышит. Скорее только догадывается о том, что она в центре внимания, – по яркому свету юпитеров. Как передать эту атмосферу разрастающейся любви? Слушая ее, публика неистовствует, руки будто сами по себе аплодируют, тогда как лица просветлены и всем уже ясно, что если Марина гениальна, то Анастасия по меньшей мере феноменальна.

Больше часа продолжалось ее выступление. Лента в моем магнитофоне остановилась, и в напряженной тишине, с которой зал слушал ее, неловко было щелкать крышкой и переворачивать кассету. Теперь жалею об этом, потому что шквал аплодисментов остался незаписанным. Но до сих пор в ушах звучат неутихающие плещущие звуки. Люди стояли в проходах, не расходились. Потом возникло стихийное движение к сцене. Словно каждому хотелось убедиться, что этот комок жизни и стойкости – не плод их воображения, а вполне реальный человек. Возможно, это был час ее триумфа. Того, к чему она всегда относилась с иронической улыбкой.

Месяц спустя мы встретились в Переделкино. Зрение А. И. слабело, глаза почти не контролировали выходящие из-под пера слова, буквы наползали на буквы – ее рукописные тексты прочитать порой было невозможно. Я помогал расшифровывать магнитофонные записи с ее выступлениями.

В перерывах гуляли по парку. Где-то высоко над головой ветер описывал эллипсы вершинами елей, березы легко шумели пожухшими от жары листьями. В Москве с ее скопищем машин плавился асфальт, а здесь, за городом, небывалый для августа зной переносился как-то легче.

Устала. Присели на скамейку в парке.

Метрах в пятистах виднелся дом Пастернака, место модного паломничества. Просторный деревянный дом, кабинет на втором этаже, стол, за которым написан роман, принесший автору мировую славу и неисчислимые страдания.

– Когда в комнату входил Борис, – заговорила А.И., – происходило нечто вроде того, как когда вбегает собака – сеттер-лаверак, ирландец или гордон, – они какие-то очень вдохновенные собаки. В один миг лизнет руку одному, другого ткнет носом, на третьего поглядит, к четвертому как-то боком прижмется. Настолько Борис поглощал внимание своей необычностью. Я помню его идущим навстречу с такой блаженной улыбкой: он вас увидел, он вам радуется, в обеих руках несет по бутылке керосина и ставит его так озабоченно, чтобы не пролить. И говорит с вами, одновременно следит за керосином – может пролить, конечно, если заговорится.

Гуашевой белизны облако восходило над верхушками берез. Откуда-то от писательских особняков потянуло запахами костра и шашлыка, донеслись неразборчиво-оживленные голоса.

– Я совершенно не признаю его романы как ценность, – продолжала разговор А.И. – Ценю “Детство Люверс”, о котором Горький мне говорил: “Для меня непостижимо, как может человек тридцати пяти лет так перевоплощаться в тринадцатилетнюю девочку!”. Но из этой области, которая ему так сродни, он почему-то захотел выйти в реальность и написать вторую “Войну и мир” – у него и война и мир там есть, – но он потерпел, с моей точки зрения, фиаско. Кажется, Ницше как-то сказал: “Мы ходим на ходулях, чтобы не заметили длинных ног наших”. А Пастернак вкладывает свои мысли в рот одному, потом другому, третьему, а мы их, героев, – не видим. Мы не видим, как они входят в комнату, не видим разницы их языка, движений, их манеры одеваться, относиться к окружающему, – всего, что создает человека, – этого ничего мы там не находим. Поэтому я читала этот роман с глубоким разочарованием.

– Но ведь стихотворный цикл в романе замечательный.

– Да, но это совершенно отдельные стихи. Они не принадлежат нисколько этому Живаго. А еще говорят, что он *дал* себя. Но это может сказать только тот, кто не знал его. Настолько Борис поглощал внимание своей необычностью! Но он реальную жизнь воспринимал, он в ней жил, он ее обогащал собой. Из этих способностей перейти к тому, чтобы реально описывать какого-то другого человека, вложить в него вот эти стихи о том, как идет ангел, – от него остаются следы, мы его не видим, а следы остаются от него, – эти стихи не могут принадлежать Живаго, потому что Живаго вообще вопросительный знак, Борис его *не родил*. Я даже удивилась одной своей знакомой – тонкий человек, латинистка, много знающая, – она как будто даже *плакала*, дочитав до того места, где Живаго умер. А я даже не заметила. Это и не смерть. Просто так сказали, что он умер. В литературном смысле Пастернак не сумел этого дать совершенно.

Вокруг скамейки, на которой мы сидели, царило смешение берез, елей, осин. Кажется, сполохи солнца между листвой, уже ослабевшие к середине лета птичьи голоса, аллеи с пастернаковским кафедральным мраком елей и тонким, хотя и ощутимым запахом грибной прели, были собраны здесь нарочно, для того, чтобы сообща дать уловимый толчок памяти. А.И. рассказывала:

– Знаете, в это трудно поверить. Но ведь это было! Я сейчас даже не вспомню точно – в каком году? Когда-то папа посадил вокруг дачи три елки. Елки Леры, Муси и Аси. По именам трех дочерей. И вот – представьте – сколько лет прошло. Приезжаю в Тарусу. Лето пятьдесят девятого года. Три года, как вернулась из ссылки. Лера, моя старшая сестра, мне говорит: “Ася, тебе надо сходить в Песочное на нашу бывшую дачу. Сходи, увидишь удивительную вещь”. Иду вдоль Оки. Отражения облаков в воде, трава. За бревенчатым мостиком крутой подъем. Откуда-то от Оки через калитку попадаю в сад. Малинник, тишина. Все заросло. Уже какой-то чужой дух над старой дачей, но все узнаваемо, знаете, – до сердцебиения. Вот

старшая елка – Лерина. Вот перед моим окном – моя, елка “Ася”. Обе сочно зеленые. И только одна, напротив Мариниого окна, – *сухая*. До самого корня! Когда она засохла? Я ищу ответ, и не у кого спросить. Думаю, в день смерти Марины.

Меня поражала прямота, порой жесткость ее оценок. Никакой стариковской слезы, размягченности. И в полной мере это относилось даже к таким близким друзьям – признанным читательским кумирам – как Мандельштам и Пастернак.

– Я Мандельштама ценю меньше, чем Пастернака, – как-то призналась А.И. – Мандельштам колдует, он колдун словесный. Но это колдовство на одном круге. Так кто-то говорил про мой “Дым”, который вышел в шестнадцатом году: это хорошая книга, но она вертится на одном круге. Там нет пути, а все один круг. Почти так же можно сказать о Мандельштаме, поскольку он Бога не познал и, видимо, не стремился к Нему достаточно, а переживал свои горести, и это стало для него императивом. Да, он колдует. Это очень, очень талантливое колдовство. А у Пастернака есть прорыв – *Туда*. Он мне писал, когда я после лагеря была в ссылке в Сибири, о своем ощущении счастья. Когда у него случился инфаркт, ему казалось, что смерть приблизилась, и он стал благодарить Бога за то, что Он ему даровал детство, потом юность и вот теперь посылает смерть. Письмо это пропало.

– Много ли у вас было писем от Пастернака? – спросил я.

– Да, много. Дело в том, что часть писем, тех, что мне писали, я при переездах отдавала на хранение моей племяннице Ариадне Сергеевне Эфрон. Пачки писем. Очень много, целый ящик. *Наполненный*. Посылала их ей из Сибири, из *навечной* ссылки, потом, после смерти Сталина, она оказалась *невечной* и нас стали освобождать, – из Башкирии, где я жила у сына после освобождения. Но назад от нее ничего не получила. Ариадна умерла неожиданно, все ее достояние передали в ЦГАЛИ. Я обращалась к Волковой, которая заведует ЦГАЛИ, с просьбой вернуть мне мой маленький письменный архив, который обозначен тем, что там на конвертах и открытках написано “Анастасии Ивановне Цветаевой”, а письма начинаются “Дорогая Ася” или “Дорогая Анастасия Ивановна...” Так что это не ее архив. Он попал туда автоматически. Волкова сначала обещала отдать, а потом ответила: дескать, мы не видим необходимости нарушать приказание Ариадны не открывать архив до двухтысячного года. И поэтому Волкова мне его не отдала. Тогда я ей написала: что ж, пусть так, я не собственница, но дайте мне копии писем. Могу даже сказать, чьи письма мне особенно хотелось бы иметь. А сами печатайте как ваше достояние. Она мне ничего не ответила, письма не напечатаны, так там и лежат. Видимо, там и останутся. Года три назад я обращалась к юристам. Они считают, что дело очень сложное и едва ли что-нибудь из него получится.

Там есть чудные письма Пастернака. Пока была в лагере, мы не переписывались. Только в самом конце, когда Германия уже капитулировала и когда после Хиросимы встала на колени Япония, чтобы не погубить себя всю, тогда только стали писать, последние два года моей ссылки. Так вот, там были

необыкновенные письма о процессе творчества. О *струе сухости* во время этого процесса. Необычайно талантливо!

В другой раз заговорили о Эфроне. А.И. сидела рядом со шкафом, повернутым к комнате тыльной стороной. Там висели любимые фотографии: Мандельштам, мне кажется, даже прислушивался к нашей беседе.

Я спросил о Сергее Эфроне. Он, герой Белого движения, на мой взгляд, совершенно потерял себя в эмиграции. Знаю, что А.И. встречалась с ним, когда ездила к Горькому на Капри, и интересуюсь, какое впечатление он на нее произвел.

– С Эфроном и Мариной я виделась в Париже за десять лет до того, как он согласился участвовать в этом деле. Не представляю, что с ним произошло за эти годы. Тогда, в Париже, он был уверен, что в России скоро все переменится. Он придерживался взглядов Николая Федорова. Вы знаете что-нибудь о евразийцах? Так вот, он считал, причем очень горячо убеждал меня, что в России будет так: с одной стороны, завоевания революции, и в то же время во главе государства на месте ВЦИКа будет патриарх. Я думаю – здесь я могу только гадать, – он и на участие в убийстве пошел, чтобы оказаться в России и приступить к исполнению своего плана. Кстати, Эфрон по матери был русский. Она происходила из известного рода Дурново и была террористкой.

Сергей сказал Марине, – продолжала А.И., – что едет в Испанию. Он уже бывал там, и Марина ему поверила. Через Испанию, где в это время шли военные действия, его переправили в СССР, так он оказался в Болшево, на даче. Уже оттуда написал Марине: “Я знаю, ты не любишь город, будешь жить в лесу, в русской природе. Мы (очевидно, имел в виду себя и Алю) будем работать, а ты будешь только писать”. Он скрыл от Марины, что я в тюрьме. Если бы Марина об этом узнала, она никогда в Россию не вернулась бы… И Аля, их дочь, была в него. Ее так избивали на допросах, что выбили из нее ребенка.Марина носила Эфрону в тюрьму передачи, и, когда с какого-то времени у нее перестали их брать, она догадалась, что его уже нет в живых. Единственным, кто у нее остался, был Мур.

В последние годы открылось то, чего Анастасия Ивановна тогда знать не могла, но о чем, по-видимому, догадывалась. Как свидетельствуют архивы НКВД, “…в 1931 году Эфрон был завербован органами НКВД, работал по освещению евразийцев, белоэмиграции, по заданию органов вступил в русскую масонскую ложу “Гамаюн”. В течение ряда лет Эфрон использовался как групповод и активный наводчик-вербовщик, при его участии органами НКВД был завербован ряд белоэмигрантов, по заданию органов провел большую работу по вербовке и отправке в Испанию добровольцев из числа бывших белых. В начале гражданской войны в Испании Эфрон просил отправить его в республиканскую Испанию для

участия в борьбе против войск Франко, но ему в этом по оперативным соображениям было отказано.

Осенью 1937 года Эфрон срочно был отправлен в СССР в связи с грозившим ему арестом французской полицией по подозрению в причастности к делу об убийстве Рейсса. В Советском Союзе Эфрон проживал под фамилией Андреев на содержании органов НКВД, но фактически на секретной работе не использовался. По работе с органами НКВД Эфрон характеризовался положительно и был связан во Франции с бывшими сотрудниками Иностранного отдела НКВД Журавлевым и Глинским".

Однажды, в начале 80-х, на Спасской, когда А.И. сидела в своем любимом кресле в излучине инкрустированного ценными породами дерева небольшого кабинетного рояля, купленного в память о матери, я спросил, читала ли она "Архипелаг ГУЛаг" Солженицына. Накануне почти сутки напролет я глотал самиздатовскую рукопись книги с наплывающими друг на друга фиолетовыми строчками – пятая или шестая копия. Несколько страниц там было посвящено "буревестнику революции". Они сильно разнились – Горький Солженицына и тот, которого знала и с восхищением описала в своих "Воспоминаниях" Анастасия Цветаева.

Близко к солженицынскому тексту я пересказал ей эпизод приезда Горького в 1929 году на строительство Беломорканала, как там ждали его заступничества невинно осужденные. Упомянул о четырнадцатилетнем мальчике, чьи родители были раскулачены и уничтожены. Этот подросток не побоялся попросить Горького остаться с ним один на один. Он и открыл писателю глаза на ужасы лагерной жизни. Горький, всю ночь проплакавший над его судьбой, понимал, не мог, как считает Солженицын, не понимать, что грозит человеку, рассказавшему ему страшную и к тому же опасную правду. Был только один способ спасти его: забрать с собой. Но Горький этого не сделал.

А.И. слушала эту историю недоверчиво. Пожав плечами, сказала:

– Кто может утверждать, *что* было на самом деле? Может, это и выдумка. Знаете, сколько вокруг Горького ходило таких легенд?

Теперь, когда я наконец прочитал пропущенную мной главу в ее "Воспоминаниях", многое увиделось в ином свете. Но в тот день я был разочарован тем, как она восприняла в моем изложении солженицынское повествование.

Не знаю, повлиял ли на нее этот разговор или просто так совпало, но в тот же день А.И. протянула мне толстую папку с тесемками, вмещавшую разномастные машинописные страницы. На папке стояло размашистое "AMOR".

– Хотелось бы знать ваше мнение, – сказала она лаконично.

Позже, когда в середине восьмидесятых роман был напечатан отдельной книгой, в предисловии к нему А.И. написала: “Он рос, как одинокий костер в лесу, с конца 1939 года и был вчерне окончен в первые дни войны, в 1941-м… Писала его на Дальнем Востоке, в зоне, на маленьких листах, настолько мелко, что прочесть его не смог бы никто кроме автора, да и то лишь по его близорукости. За пределы зоны он попадал через вольнонаемного, в письмах”.

“Жизнь Ники” – самая живая, самая захватывающая глава в “Аморе”, скорее даже повесть внутри романа.

Нике, *alter ego* автора, нелегко сразу взять правильный тон, она в раздумье, с чего начать, как пересказать свою жизнь. Но постепенно поезд повествования разгоняется. Вот Ника и Глеб (Анастасия и Борис Трухачев) ранним утром отправляются в путешествие по Франции. На все дни разостлавшееся настроение – безделья; ласковое безразличие к тому, день ли сейчас или вечер. Запах сигар, запах фиалок. Бесцельность денег в щегольских портмоне, их скучающие фигуры у витрин…

А позже “…в Москве, вечером, зимой, в домике на Собачей площадке я спускалась по крутой каменной, мокрой и темной лесенке, ведущей в светлую и жаркую кухню. На мне черное платье из бархата, круглая бриллиантовая брошь и кольцо с бриллиантом. Выйдя от тепла вечно горящего камина, я куталась в боа и дрожала от холода. Я шла сказать что-то об ужине. И вдруг – я остановилась на ступеньках. У камина, в комнате Глеба, сидели у огня несколько человек и, увидев меня, уже приготавливали мне место. Я поглядела на них острым, внимательным и широким взглядом и молча села у огня. Меня укрывали маминой бархатной шубой. *Юные лица всех нас были ярко освещены*”.

Бросается в глаза явная театральность происходящего: бархатное платье, дорогие украшения, ярко освещенные лица, притихшие в предчувствии надвигающегося тектонического разлома в их судьбах, в судьбе страны.

Как же стремительно изменяется жизнь Ники!

Это на свой лад “Титаник”. Драматизм его крушения не только – и даже не столько – в том, что богатые спасались, а низшие сословия так и не смогли прорваться к шлюпкам. По сути, это урок гибельности человеческого высокомерия и гордыни. Повелители судеб, прислушайтесь: в днище уже хлещет вода, и наиболее проницательные из пассажиров смутно догадываются о надвигающейся катастрофе.

Еще один поворот сцены. Возвращается с войны Глеб с параличом руки и лица. Все тесно переплетено: хаос революции, разрушения, смерти близких. Корабль окончательно идет ко дну. Ника остается в голодном Крыму одна с двумя детьми. Вскоре младший, Алеша, умирает.

Во втором издании (1991) роман “Амор” сильно и в лучшую сторону изменен по сравнению с тем, машинописным, – все вещи названы своими именами. Тут впервые я прочитал то, что слышал в скупых устных рассказах А.И. во время наших встреч.

“Жизнь в тюрьме… Один следователь – нос с дворянской горбинкой, читал Герцена, другой – менее грамотен, ошибки поправляла ему в протоколе. Какой-то ее ответ вынудил у него восклицание: “Стерва!”

“После таких слов прекращаю отвечать на вопросы”.

За это ее заперли в одиночную узкую камеру. Настолько узкую, что сесть невозможно. А стоять не было сил, потому что допрос продолжался много часов.

Через некоторое время вновь повели на допрос. И опять повторилось запирание в узкий, похожий на шкаф, бокс.

– Что вам от меня нужно? – не выдержал следователь.

– Я бы хотела понять, что *вам* от меня нужно…

– Хотите, чтобы я извинился, что ли?

– Вы напишите в протоколе, после *какого* слова я отказалась отвечать.

– Что я, дурак? – простодушно захохотал следователь.

И я тоже засмеялась…”

Обвинение выстраивалось вокруг ее причастности к “Ордену Розенкрейцеров”. Дело по тем временам нешуточное – речь шла о подрыве государственных устоев.

Еще в 1933 году, когда розенкрейцеры оказались под подозрением, А.И. была арестована, провела под следствием два месяца, после чего ее выпустили. Как потом оказалось, помог ей освободиться из застенков ОГПУ не кто иной, как Максим Горький. Об этом периоде нашей истории Анна Андреевна Ахматова как-то заметила, что это были еще “вегетарианские годы”.

В 1937-м с “вегетарианством” было покончено. После нового ареста А.И. следователь не без ехидства заметил: “Теперь *он* за вас не заступится”.

В самом деле, в 1936 году Горького не стало.

Читая недавно открытые секретные материалы допросов, приговоров, судебных постановлений, наглядно видишь, как сооружалось очередное дело, и можно только диву даваться, какая гильотина нависала над любым, даже самым безобидным инакомыслием.

А.И. мне рассказывала, как сутками ее мучили следователи, меняя друг друга, не давали ей спать. Несменяемой была только яркая лампа, направленная в лицо, и монотонно повторяемые вопросы: “Какая разведка вас завербовала?..” Как теперь видно из этих самых “материалов”, даже в нечеловеческих обстоятельствах А.И. удалось выстоять и при этом *никого* не оговорить.

Сегодня, спустя семьдесят лет после этих событий, о розенкрейцерах можно свободно прочитать на сайтах в Интернете. Они исповедовали странное единение мистики и науки. Почитали сплетение Розы и Креста как символов единства Жизни и Смерти. Розенкрейцерам в средние века приписывалось исключительное могущество, власть над природными силами и людьми, способность воскрешать мертвых и создавать в алхимических лабораториях искусственных людей, так называемых *гомункулусов*. Членами общества были такие ученые и предсказатели, как Парацельс и Нострадамус, а позднее и Френсис Бэкон. К началу двадцатого века розенкрейцеры представляли себе человечество как единый организм, вырабатывающий нравственные и культурные ценности.

В России идеи розенкрейцеров стали особенно популярны после революции в кругах интеллигенции, верившей в возможность создания ноосферы, выхода человечества за пределы земного пространства, освоения иных миров. И наиболее ярким представителем и руководителем розенкрейцеров в России называют Бориса Михайловича Зубакина.

Помню, как в одно из первых посещений квартиры А.И. обратил внимание на нечеткую фотографию в рамке, видимо, переснятую с маленькой и увеличенную. На ней был изображен человек, которого можно было бы принять за прямого потомка Шекспира, – так схожи были их черты.

Взяв фотографию в руки, она стерла ладонью несуществующую пыль, некоторое время пристально разглядывала ее, после чего сказала:

– Необыкновенный, удивительнейший был...

Я заинтересовался этим человеком, но А.И. назвала только его фамилию и от более подробных расспросов уклонилась. Это был Б.М. Зубакин.

…Какой-то пронзительно-яркий день, кажется, конец февраля. Солнце освещает перья лука в банках на подоконнике в кухне на Спасской. А.И. говорит о своей книге “Королевские размышления”, написанной ею в двадцать лет, и о том, как эта книга – по сути атеистическая – была воспринята Василием Розановым.

Те, кто хотя бы немного знаком с биографией А.И., знают, что в возрасте двадцати семи лет ее взгляды резко, если не сказать диаметрально, переменились. Она фактически дает обет безбрачия. Отказывается от лжи. Далее – вегетарианство,

отречение от любого рода излишеств. Атеизм улетучивается, ему на смену приходит глубокая вера в Бога, сохраняющаяся почти до самого конца ее долгой жизни.

Меня всегда интересовало, что именно послужило причиной такой перемены ее мировоззрения. Был ли какой-то внешний толчок? В тот день в кухне на Спасской я спросил ее об этом.

Отношения с любимыми людьми, ответила А.И., объясняя произошедший в ее душе перелом, порой складываются таким образом, что ты либо вынужден лгать, либо, говоря правду, причинять страдания другому человеку. И то и другое для нее стало невозможным.

Позже я начал понимать, что всего она мне не сказала. А может, в те первые годы нашего знакомства и не доверяла мне полностью – в советские времена такого рода вопросы настораживали.

Познакомил Анастасию Цветаеву с Борисом Зубакиным поэт Павел Антокольский. Это случилось в 1922 году, в Московском доме литераторов.

О своем мировоззрении Зубакин откровенно написал сам, заполняя анкету во время первого ареста: в графе “партийность” – *“свободомыслящий мистический анархист, христианин, в общем христианстве разочарован”,* а в графе “политические убеждения” – *“сочувствую маленьким коллективам – общинам духовного типа”*.

Родился в Петербурге в 1894 году. Его предки по линии матери были шотландцы, которых привел в Россию Петр I. В 1912 году Зубакин узнает о существовании ложи розенкрейцеров, которую возглавлял Александр Кордиг. Идея, что Душа бессмертна не только мистически, но и физически, ибо основа ее – Свет, увлекает его. Себя и своих “товарищей по ордену” он называет рыцарями Света, а сам орден – “Lux astralis” (“Звездный свет”), сокращенно – “LA”.

А вот что об этом можно прочесть в официальных бумагах ОГПУ.

“По предложению следователя Зубакин в письменной форме рассказал историю группы “LA”, эти записки им названы “Показания арестованного профессора Б.М. Зубакина”. Фактически – это его биография. Он рассказал о том, как пытался осмыслить мир, как нащупывал в нем свой путь – путь розенкрейцера, о своих духовных и нравственных исканиях. Свою группу “LA” он назвал “частный сектантски-религиозный кружок мистиков”. Зубакин поведал и о том, что в 1912 году у него произошел нравственный перелом, когда он почувствовал потребность уединения и дал обещание не есть мяса и рыбы, не лгать и вести умеренный образ жизни. Решение жить уединенно оттолкнуло от него некоторых из его друзей и мать, решение не лгать причинило массу неудобств и неприятностей. *“Однако я горжусь ими, если это слово вообще здесь уместно, <...> и не нарушаю”,* – подытожил он. О себе Зубакин сообщил: *“Никогда не шел лукаво. Ни с какими властями не боролся. <...> хотел бы написать пару книг по философии и*

литературе и умереть, никого не обидя, – среди природы и таких же, как я, друзей”.

Вглядимся в эти чудовищные документы, скромно поименованные “протоколами следствия”. “Поведал”, “сообщил”, “подытожил” – может создаться впечатление, будто речь идет о дружеском чаепитии. Этот нарочито повествовательный тон следственных протоколов кажется особенно фальшивым рядом с одной только эмоциональной, на грани срыва, запиской Зубакина следователю, приложенной к “делу”: *“В тюрьме я написал (в мыслях) 16 стихов (280 строк) и начинаю забывать. Разрешите бумагу, хотя бы для записи стихов. Некоторые о тюрьме и России, – заинтересуйтесь хотя бы, тов. следователь!* – и подпись: *Профессор Зубакин, лишенный Вами возможности работать за то, что стихи и философию любит больше всего в мире”.*

Вот еще одна маленькая иллюстрация к его портрету того периода, когда он уже был знаком с А.И., почерпнутая из миниатюры, опубликованной в ее книге “О чудесах и чудесном”:

“В конце 20-х годов Борис Михайлович Зубакин привез из Карачаева Тамбовской губернии, где жила его сестра Надежда Михайловна и где разорили церковь, – сидящую статую Христа, деревянную, тонко раскрашенную масляными красками; почти в натуральную величину, в терновом венце. Борис Михайлович вез ее в большой бельевой корзине. В пути его остановила милиция, по согнутой в колене ноге, выглянувшей из корзины, заподозрив, что он везет тело. Осмотрев, отпустили. Он поднял статую ко мне на 4 этаж без лифта в квартиру, где я жила с сыном-подростком Андреем с 1921 года по год ареста, 1937. (Мерзляковский переулок, 18, кв. 8). Статуя была покрыта от плечей по полуобнаженному телу темно-пурпурной материей, стянутой возле шеи. Мы поставили ее возле киота в уголку у ширмы, делившей комнату на две части – мою и сына…”

В апреле 1933 года, когда А.И. была арестована первый раз, на следствии она не отказывалась от своего знакомства с Зубакиным, но отрицала какое-либо участие в его организации: *“...ни о какой мистической или иной группе я не знаю и ни в какой из них не участвовала”.* Пробыв в заключении шестьдесят четыре дня, была освобождена (Горький?) постановлением ОС при Коллегии ОГПУ.

Однако на этом дело не кончилось.

Как явствует из материалов следственных дел, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации, спустя четыре года после первого ареста, 2 сентября 1937 года, А.И. вновь арестована в Тарусе. Из Тарусы вместе с сыном отправлена на Лубянку, а затем в Бутырки.

Следствие длилось четыре месяца. Первые вопросы относились к восьмиконечному кресту, изображенному на фото. Анастасия Ивановна отвечала, что этот крест хранился у нее на квартире более двух лет, примерно до 1935-1936 года, название креста – “Сакрэ-Кэр” (“Священное сердце”), получила его от Б.М. Зубакина, дорожила им как реликвией, но когда, кому и почему отдала, не помнит.

Следствие добивалось имен участников “организации”, сведений о ее структуре. Вот протоколы, донесшие сильно отретушированные вопросы-ответы.

“Следователь: *Кто такой Зубакин?*

А. Цветаева: *Мой друг. Он – поэт, скульптор, талантливый импровизатор и философ. Познакомилась с ним в 1922 году в Союзе писателей в Москве. Сблизила нас общность этических и философских взглядов, а также отношение к религии и искусству. Наша дружба и личное общение продолжались до самого последнего времени, хотя в последнее время переписка и встречи стали редкими.*

Следователь: *Каких философских и религиозных взглядов держится Зубакин?*

А. Цветаева: *По своим философским взглядам Борис Зубакин – идеалист. Он интересуется каббалой, мистикой и вопросами древних религиозных учений. Я разделяю эти взгляды Зубакина.*

Следователь: *Назовите фамилии ваших и Зубакина знакомых, разделяющих философские и религиозные взгляды Зубакина.*

А. Цветаева: *Из таких лиц мне известны Валентин Николаевич Волошинов и Леонид Федорович Шевелев. Оба эти лица – ныне умершие.*

Следователь: *Кто еще разделял философские и религиозные взгляды Зубакина из известных вам лиц?*

А. Цветаева: *Кроме Волошинова и Шевелева, лиц, разделявших взгляды Зубакина, я никого не знаю.*

Следователь: *Назовите фамилию Анастасии, проживающей в Смоленске, которая в 1936 году приезжала в Москву на панихиду по Ивашеву.*

А. Цветаева: *Назвать фамилию Анастасии я отказываюсь из тех соображений, что этот человек ничем себя не скомпрометировал, и если будет известна фамилия Анастасии, то она будет привлечена к ответственности невинно*”.

И вот наконец обвинительное заключение сформулировано:

“В предъявленных обвинениях виновной себя не признала, но полностью изобличается показаниями участников организации, которые назвали ее

“активнейшим членом организации”, “секретарем организации и хранителем архива и реликвий Ордена”.

Постановлением судебной тройки от 10 января 1938 года Анастасия Ивановна Цветаева была приговорена к десяти годам заключения в ИТЛ (исправительно-трудовых лагерях), а уже в феврале отправлена в лагерь НКВД БАМ в район Хабаровска. С сентября 1941 года работала на Ургальском строительстве: до сентября 1942 года – в поселке Тырма, затем до конца срока – в лагере № 4 на станции Известковая Еврейской АО; в сентябре 1947 года была освобождена из заключения.

С октября 1947 жила в поселке Печаткино, Сокольского района, Вологодской области, куда приехала к сыну, работавшему на Архбумстрое, и подрабатывала частными уроками английского языка.

Группа Б.М. Зубакина прекратила свое существование в 1937 году, все члены ее были арестованы, а Б.М. Зубакин расстрелян в 1938 году.

17 марта 1949 года А.И. была вновь арестована как *“активная участница, идеолог и одна из руководительниц фашистской организации, действующей под прикрытием мистической организации “Орден Розенкрейцеров”, которая ставила своей целью свержение советской власти и установление фашистской диктатуры”.*

Из протокола допроса от 11 апреля 1949 года.

Следователь допрашивал ее по поводу лиц, с которыми переписывалась после освобождения из лагеря. У него, как правило, было два вопроса: *“Кто такой?”* и *“Дайте характеристику”.*

Краткие ответы заканчивались фразой: *“Ничего компрометирующего о нем (ней) не знаю (мне неизвестно)”.*

Например: *“Пастернак Борис Леонидович, примерно 60 лет, места рождения не знаю, поэт, писатель. С Пастернаком я знакома с 1924 года и встречалась периодически до 1937 года. Ничего компрометирующего о нем не знаю”.*

На вопрос: *“Кто такая Эфрон?”* ответила: *“Эфрон Ариадна Сергеевна, примерно 35 лет, урожденная в Москве, в настоящее время проживает в Рязани, где в техникуме преподает графику. Эфрон – моя племянница, дочь моей сестры Цветаевой Марины Ивановны”.*

Из протокола допроса от 14 апреля 1949 года:

“Следователь: *Следствие располагает данными, что в период отбытия срока наказания вы среди заключенных вели антисоветскую агитацию.*

– Я это отрицаю.

Следователь: *В октябре 1939 года вы клеветали на Вождя народов, на жизнь в СССР и на международную политику Советского правительства. Вы признаете это?*

– Никогда на Вождя народов, на жизнь в СССР и на международную политику не клеветала и эти данные следствия категорически отрицаю".

Постановлением ОСО при МГБ СССР от 1 июня 1949 года Анастасия Ивановна была приговорена к высылке на поселение (сроком на пять лет) и отправлена в Сибирь.

Многие, близко знавшие А.И., считают, что подломила ее смерть сына.

До этого она чувствовала себя вполне сносно, недавнюю поездку в Голландию перенесла даже лучше, чем можно было предположить. Андрей Борисович (Андрей, Андреюшка, как она его называла, но никогда не "Андрюша") в последние (как потом выяснилось) месяцы своей жизни навещал ее нередко в возбужденно-приподнятом настроении, и это ее очень тревожило. На исходе января 1993 года – стояли сильные морозы – он привез ей на Спасскую книги, кое-что из продуктов. Отогрелся, после чего отправился на другой конец Москвы, домой. Там, в подъезде, с ним случился инсульт, а через сутки он умер. К этому времени ему исполнилось 80 лет.

Всю жизнь они были очень близки. Называл он ее на "вы" и по имени. Отзываясь на телефонный звонок, отвечал:

– Асенька, вас… – И мне в телефон: – Сейчас мама возьмет трубку.

Он рос одаренным мальчиком с явными художественными наклонностями. Вот только судьба ему выпала трагическая, так что его способностям не суждено было развиться в полной мере. В 1937 году он приехал в Тарусу знакомить мать со своей будущей женой. В тот же день на глазах невесты их увезли из Тарусы на Лубянку, в тюрьму.

Помню, с какой нежностью А.И. рассказывала об эпизодах его детства во время наших поездок. Кое-что опубликовано в ее "Воспоминаниях". Например, история о том, как он совсем еще мальчиком в трамвае вступился за мать, отчитав высокомерную особу, позволившую себе бестактные слова в адрес бедно одетой А.И. Но вот где-либо записанную ею историю о том, как маленькому Андрею был отпущен миллион на мороженое, а он, вместо того чтобы купить себе лакомство, отдал деньги уличному музыканту, я нигде не встретил.

После смерти Андрея Борисовича из А.И., казалось, извлекли некий стержень. Возможно, именно этот стержень и был источником тепла и света, согревавшим многих вокруг нее.

Жизнь в ней съежилась в комок беззвучной боли.

К весне А.И. сильно ослабела. С пневмонией привезли ее ко мне в отделение реанимации. Она большую часть времени лежала, задумчиво разглядывая свежую зелень деревьев за окном, изредка кое-что записывала в тонкую тетрадь на тумбочке у кровати. Это были наметки к книге о сыне.

Забирала ее внучка Оля. Потом в палате за тумбочкой нашли забытую ею картонную иконку с изображением лика Св. Анастасии.

Последние недели были ужасны. Она то впадала в беспамятство, кричала страшные слова, рвала с себя крест, то успокаивалась, тихим голосом задавала вопросы, которые с времен “Королевских размышлений” считала для себя решенными.

“Бог — лед. Мы — по молодости — еще пламя. Когда-нибудь жар нашей земли остынет от его холода.

Неужели бог, создавая человечество, не мог выдумать для него иного местопребывания, чем шарик среди пустоты, который вдобавок еще и летит? Что за нелепость!

На той высоте, где я сейчас живу, я буквально чувствую, как у меня кружится голова. Все живут, видя над собою: добро, пользу, идеал, веру, бога; я живу в абсолютной сияющей пустоте. И тот мир, который кажется всем устроенным, осмысленным, божеским, мне видится нелепым, хаотическим, летящим неизвестно куда.

Все к чему-то стремятся. Я не стремлюсь ни к чему. Все уважают религию. Я религию не уважаю.

Прежде я чувствовала свою какую-то миссию, но беспечно ей не знала названия. И вера в чудо – была. Теперь, если верить в миссию, – моя миссия слишком блестящего, небывалого (с одной стороны), слишком странного и бесцельного (с другой стороны) свойства. Сказать, что все безнадежно, так? Ну и миссия! Может быть, единственная миссия, которая не так-то уж требует выполнения, хотя она так же “правильно обоснована”, как и другие. Мне предстоит: сказать и умереть. Но так ли важно сказать? И, может быть, только умереть? Вот то, что смутно тревожит меня и мучает. Выходит, что я все еще, вопреки всему, – да, верю в какое-то чудо. “Да, это, конечно, правда, что бездна и пр., но ведь все же, не может же быть, чтобы я просто умерла, завтра, в будущем году, и ничего больше? Как же? Да ведь это конец, навсегда...” – Точно я не об этом говорю все

время! Точно я не знаю, что нет ни бога, ни помощи, ни защиты! Так что же: конечно, умру – и конец! Ведь я не только отрицаю будущую жизнь, но я еще ее и отвергаю! Я с насмешкой говорю, что, может быть, и этой жизни – чересчур; что прожить 40-60 лет, не зная, что такое жизнь — немало! Я сама за собой закрываю все, все пути. И так как теперь и имя "миссии" мне известно, то – все известно. Остается только вопрос: когда же я умру? И больше ничего.

Но вот я пишу и совершенно, совершенно не верю ни в одно свое слово, совершенно не могу осознать, что я "умру – и конец!"

Тогда, в 1914 году, фонтанирующей молодости, избытку сил требовалась равноценная по силе и соразмерности антитеза. Такой противоположностью по контрасту могла быть только Смерть.

Теперь Бездна небытия приблизилась вплотную. И разум, казалось, был не в состоянии, не мог вместить надвигающееся неизбежное.

При ее жизни мне не приходилось обращаться к ней по имени. Теперь иногда прислушиваюсь к звукам слов: Анастасия, Ася… Ася Цветаева… Отчетливый отголосок осени. Звук ясного неба, чернильно-сиреневых астр.

Этих цветов было особенно много на ее похоронах в сентябре 1993 года.

После отпевания ее вынесли из церкви при Ваганьковском кладбище. Гроб на плечах понесли к фамильной могиле, где с давних пор похоронены ее отец и мать, а с февраля – сын Андрей.

Там как-то так все было сложно устроено, что напрямую опустить гроб было невозможно, не задев останков близких. На глубине была вырыта ниша, некий ход, куда гроб был опущен, как спускают лодку на воду. В последний момент он как будто выскользнул из рук и скрылся под толстым слоем земли. Было ощущение, что он поплыл по какой-то подземной реке.